

А. В. АРХИПОВА

БЛОК И ДОСТОЕВСКИЙ

Статья 2

КРИЗИС ГУМАНИЗМА

Сопоставление двух художников возможно не только тогда, когда они похожи друг на друга, испытывают взаимное влияние, или когда один является прямым учеником и продолжателем другого. Сопоставляемые художники (мыслители) могут быть или не быть современниками, могут принадлежать к одной или к разным национальным культурам. Важно, чтобы они, как отметил в одной из своих работ Г. М. Фридлендер, «сталкивались с одними и теми же вопросами и решали их то сходно, то различно».¹ Добавим к этому, что вопросы, волнующие обоих сравниваемых писателей, должны носить не частный, а общественно-значимый характер.

Одним из таких вопросов представляется нам идея гуманизма в европейской культуре и литературе, привлекавшая к себе как Достоевского, так и Блока.² Решали они ее иногда сходно, чаще различно, так как были представителями разных эпох. Однако само их различие позволяет проследить развитие этой идеи в сложное и противоречивое время русской культурной истории — в конце XIX—начале XX в.

Ощущение кризиса и надвигающейся катастрофы, охватившее интеллигенцию 1900—1910-х годов, заставляло думать о возможных путях изменения мира, о будущем России. Признание того, что перемены неизбежны, что сложившаяся к началу XX в. русская жизнь недостойна существования человека, что идеи и иллюзии XIX в. потерпели крах, разделялось большинством мыслящих людей. Ощущение кризиса заставило подвергнуть пересмотру и традиционную европейскую идею гуманизма. Идея ценности человеческой личности независимо от ее социального положения, на-

¹ Фридлендер Г. Достоевский и Ибсен // *Dostoevsky Studies*. 1993. N 2. С. 211.

² См. мою статью: Блок и Достоевский. Статья 1 (Достоевский. Материалы и исследования. СПб., 2000. Т. 15). В ней сопоставление двух писателей проводится на основе анализа также существенных тем: 1) изображение семейной жизни как отражения жизни общественной и 2) отношение к проблеме России. Там же указаны и существующие работы на тему «Блок и Достоевский». Все цитаты из произведений А. Блока даются по изд.: *Блок А. Собр. соч.*: В 8 т. М.; Л., 1960—1963. С указанием тома римской цифрой и страницы — арабской. Ссылки на записные книжки даются по изд.: *Блок А. Записные книжки: 1901—1920. М., 1965* (в дальнейшем ЗК).

циональности или религии стала в XIX в. в результате ряда революций и создания буржуазно-демократических государств одной из ведущих. Однако, оставаясь распространенной идеей, она не была реализована в политической и социальной практике и потому на рубеже веков была признана несостоятельной. Поиски альтернативы этим неосуществленным идеалам охватили многие умы Европы. В чем высшая правда — в воле самоценной личности или в воле сплоченной массы, коллектива? — Этот вопрос на разные лады повторялся многими и будоражил умы, постоянно волновал людей кризисной, переломной эпохи.

Символисты, уделявшие много внимания подобным темам и настроениям, оглядывались на своих предшественников, среди которых особо выделяли фигуру Достоевского. Он тоже жил с ощущением кризиса и приближения перемен. Один из первых русских писателей, еще в 1870-е годы он предчувствовал наступление катастрофы и гибель сложившегося культурного мира.

«Мне кажется, — писал он в 1877 году, — что нынешний век кончится в старой Европе чем-нибудь колоссальным (...) хотя и не буквально похожим на то, чем кончилось восемнадцатое столетие, но все же настолько же колоссальным, — стихийным и страшным, и тоже с изменением лика мира сего — по крайней мере, на Западе старой Европы» (25, 148). И хотя политические предсказания Достоевского не сбылись (он считал, что социалистическая революция произойдет в странах Западной Европы, прежде всего во Франции, а Россия ее избегнет), это ощущение интеллигенцией начала XX в. крушения привычного уклада и неизбежности глобальных перемен было близко воззрениям Достоевского. «Конец мира идет, — предсказывал Достоевский незадолго до смерти. — Конец столетия обнаружится такими потрясениями, каких еще никогда не бывало» (27, 50).

Многие писатели «серебряного века» склонны были чересчур сближать позицию Достоевского со своими взглядами. В нем видели провозвестника нищезанятия, трагической философии (Вяч. Иванов), борца со старым гуманизмом (Л. Шестов). Л. Шестов утверждал, что «в последних своих произведениях Достоевский употреблял слово „гуманность“ только иронически и всегда брал его в кавычки».³ Подтверждением критического отношения Достоевского к «гуманности», «человеколюбию», защите слабого и униженного человека Шестов считал, например, оценку писателем стихотворения Некрасова «На Волге». Это стихотворение, которым зачитывалась вся русская интеллигенция 1870-х годов, «Достоевский позволил назвать „кривлянем“». Кривлянье, говорит Достоевский, а между тем читатели Некрасова плакали искренними, чистыми слезами над его поэзией вообще и над стихотворением „На Волге“

³ Шестов Л. Достоевский и Нитше : (Философия трагедии). Берлин, 1922. С. 26.

в частности! Но вот эти-то слезы сочувствия, как и вызывающую сострадание поэзию, Достоевский и Нитше ненавидели больше всего в мире. Взгляд или, если хотите, „вкус“ истинных каторжников, подпольных людей, людей трагедии. У них уже давно нет слез, и они знают, что слезы не помогают, а сострадание — бесплодно».⁴

Писатели начала XX в. часто сближали Достоевского с Ницше. С точки зрения Н. А. Бердяева, например, такие герои русского романиста, как Иван Карамазов или Ставрогин, — прямые предшественники немецкого философа. В литературно-критической практике тех лет автор часто отождествлялся с его героями. Относилось это и к Достоевскому. В рассуждениях Раскольникова или Ивана Карамазова видели взгляды Достоевского.

Сближала его с Ницше и поднятая им проблема зла. «У Достоевского, — подчеркивал Бердяев, — было в глубочайшем смысле антиномическое отношение к злу. Зло есть зло, оно должно быть побеждено, должно сгореть. И зло должно быть изжито и испытано, через зло что-то открывается, оно тоже — путь».⁵ Главная заслуга писателя — изображение «противоречивой и иррациональной человеческой природы», ее несоизмеримости «с рационалистической теорией прогресса, с (...) рационализированным социальным устройством».⁶ В творчестве Достоевского видели отказ от традиционного гуманизма, и этим определялось сходство Достоевского с Ницше. Бердяев считал, что глубина и новаторство художественных образов Достоевского не идут ни в какое сравнение с его публицистическими высказываниями, которые он находил «поверхностными» и неоригинальными.⁷ Людям кризисной эпохи были ближе богоборчество Кириллова и демонизм Ставрогина, чем проповедь любви, добра и всеобщего примирения. Подход деятелей «серебряного века» к творчеству Достоевского при всей новизне, пронизательности и глубине многих истолкований, все-таки грешил односторонностью.

Теперь, когда в поле зрения исследователя есть не только романы и «Дневник писателя», но многочисленные записные тетради, подготовительные материалы к художественным произведениям, наброски неосуществленных замыслов, мы можем лучше понять мысль писателя и убедиться, что между романами и публицистикой нет противоречия, что художник и мыслитель — одно, хотя, разумеется, Достоевский прежде всего художник.

Сложнее подход современного исследователя и к теме «Достоевский и Ницше», которая в последние годы снова привлекает к себе внимание. В. В. Дудкин, плодотворно занимающийся этой темой, в своей книге «Достоевский — Ницше : (Проблема челове-

⁴ Там же. С. 142.

⁵ Бердяев Н. А. Ставрогин // Бердяев Н. А. О русских классиках. М., 1993. С. 53.

⁶ Там же. С. 67.

⁷ Там же. С. 53, 62.

ка)» на основе всесторонних сопоставлений этих двух деятелей культуры приходит к выводу, что оба они сосредоточили свое внимание на проблеме духа (духовном, а не материальном начале жизни). Но для Ницше это не Святой Дух. «Дух Ницше состоит из триады зла, свободы и творчества, где доминантой является творчество». «Дух» Достоевского связан с христианством, и в основе его «лежит иная триада: добро или любовь, свобода и творчество», а доминантой здесь является любовь, потому что она включает в себя и понятие свободы, и понятие творчества.⁸

Так, в современном сознании Достоевский не столько сближается с Ницше, для чего, несомненно, есть основания, сколько противопоставляется ему.

В эпоху, о которой говорится в этой статье, Достоевский воспринимался главным образом как провозвестник и предтеча кризиса, кризиса семьи, устоев, веры, в том числе и кризиса гуманизма.

Такая трактовка мировоззрения Достоевского, разумеется, модернизирует и несколько «выпрямляет» образ русского писателя. Отношение Достоевского к гуманизму было сложным и не лишенным противоречий. Он скептически относился ко всяким формам коллективизма и коллективистского сознания (к фурьеризму, «политическому» социализму во всех его проявлениях), всегда отстаивал право личности на внутреннюю свободу и возможность добровольного выбора. Но вместе с тем он не принимал и все формы крайнего индивидуализма, полагая, что он (как и идеи социализма) есть порождение буржуазной цивилизации, которую писатель глубоко ненавидел.⁹ Пережив в молодости увлечение утопическим социализмом и влияние романтической культуры на свое творчество, Достоевский, пересмотрев свои взгляды, постоянно возвращался к этим проблемам, анализировал их, стремясь доказать прежде всего самому себе свое освобождение от этих идей.

Писатель не отказался от понятия гуманизма, хотя трактовал его по-своему. Не выражение личности, *себя*, видел он в гуманизме, а связь с другими людьми, т. е. именно любовь к людям, то, что так злобно высмеивал Л. Шестов. Владимир Соловьев, анализируя отношение Достоевского к проблеме индивидуализма, отметил, что, пересмотрев на каторге свой взгляд на возможность насильственной переделки мира, он пришел к основным выводам: 1) «отдельные лица (...) не имеют права насилловать общество во имя своего личного превосходства»; 2) «общественная правда не выдумывается отдельными умами, а коренится во всенародном чувстве»; 3) «эта правда имеет значение религиозное» «и связана (...) с идеалом Христа».¹⁰

⁸ Дудкин В. В. Достоевский — Ницше : (Проблема человека). Петрозаводск, 1994. С. 147.

⁹ См.: Левицкий С. Достоевский и кризис гуманизма // Грани. 1951. № 14. С. 162.

¹⁰ Соловьев Вл. Три речи в память Достоевского. Речь первая // Соловьев В. С. Литературная критика. М., 1990. С. 42.

В результате Достоевский развел и даже противопоставил понятия *гуманизм* и *индивидуализм*. Индивидуализм есть порождение западной культуры, на русской почве он привел к отрыву от народа образованного меньшинства. «С Петровской реформы, — отметил Достоевский в записной тетради 1864—1865 годов, — с жизнью европейской мы приняли в себя буржуазию и отделились от народа, как и на Западе. Оттого развилось сознание и самоанализирование, но материалу для познавания (непосредственно народной жизни) все менее и менее становилось».

НВ. Социальные теории уже тем грешат, что они есть продукт этой высшей отломленной жизни» (20, 194).

Т. е. развитое «сознание» и способность к «самоанализированию» в отрыве от народных корней и понимания народной жизни уведут человека прочь от истины и способны породить только ложные «социальные теории...». Высшее развитие личности сводится не к обращению *внутрь* себя, а в направленности *вне* себя, к другим людям, к миру.

В известных рассуждениях о жизни, смерти и бессмертии, о цели и смысле человеческого развития, вызванных смертью первой жены и зафиксированных в записной книжке 16 апреля 1864 года, Достоевский прямо заявляет, что гуманизм (любовь к человечеству) есть преодоление индивидуализма и эгоизма.

«Возлюбить человека, как *самого себя*, по заповеди Христовой — невозможно. Закон личности на земле связывает. Я препятствует. (...) Между тем после появления Христа, как *идеала человека во плоти*, стало ясно как день, что высочайшее, последнее развитие личности именно и должно дойти до того (в самом конце развития, в самом пункте достижения цели), чтоб человек нашел, сознал и всей силой своей природы убедился, что высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего *я*, — это как бы уничтожить это *я*, отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно. (...) Таким образом, закон *я* сливается с законом гуманизма, и в слитии, оба, *я* и *все* (по-видимому, две крайние противоположности), взаимно уничтоженные друг для друга, в то же самое время достигают и высшей цели своего индивидуального развития каждый *особо*» (20, 172).

В этих размышлениях Достоевского надо подчеркнуть две существенные мысли: 1) «*я*» и «*все*» рассматриваются здесь как две крайние точки в понимании цели и смысла жизни, как два полюса, между которыми возникают все основные противоречия, и 2) человек может достигнуть высшей цели своего существования — отдать всего себя целиком всем и каждому — лишь в результате «высочайшего, полного развития личности», вполне реализовав ее.

Вместе с тем писатель считал, что идеал этот на земле неосуществим. Он возможен только как цель, к которой надо стремиться. «Потому что это идеал будущей, окончательной жизни человека, а

на земле человек в состоянии переходном». Если же идеал осуществится, то и движение остановится, ибо «борьба и развитие» — «закон природы» (20, 173). Человечество может подойти к этому идеалу бесконечно близко (что показано в «Сне смешного человека»), но никогда не достигнет его, так как иначе прекратится развитие. Понимая индивидуализм как признак «переходного» состояния, Достоевский признает, что это необходимая стадия как в развитии человечества, так и отдельной личности. Но ее следует преодолеть ради достижения высшей стадии — гуманизма.

Символисты, и Блок в их числе, исходили из иного понимания гуманизма. Способность личности осознать себя, отделить от других и выразить с наибольшей полнотой, — вот что такое гуманизм в их понимании. Таково западное толкование «гуманизма» в отличие от русской «гуманности» (человеколюбия), — и так трактовал гуманизм Блок. «Понятием гуманизм привыкли мы обозначать прежде всего то мощное движение, которое на исходе средних веков охватило сначала Италию, а потом и всю Европу, и лозунгом которого был человек — свободная человеческая личность. Таким образом, основной и изначальный признак гуманизма — индивидуализм», — писал Блок в статье «Крушение гуманизма» (VI, 93).

Символисты, выразители романтического сознания, находящегося как бы на новом витке развития, были, разумеется, апологетами свободной личности. И к понятию индивидуализма относились они не слишком негативно. Отсюда свойственный многим из них культ Ф. Ницше, понимаемого, впрочем, иногда как выразителя христианского гуманизма.¹¹ Отсюда и такие течения, как «мистический анархизм», проповедовавший свободное, «анархическое» единение людей,¹² и истолкование с анархических позиций русского байронизма. Вячеслав Иванов в статье «Байронизм как событие в жизни русского духа» писал, что в отличие от Западной Европы, где байронизм ассоциировался с «мировой скорбью», в славянском мире он стал «вестью об извечном праве и власти человеческой личности на свободное самоопределение перед людьми и Божеством. Этим восстанавливалась по-новому революционная заповедь свободы, равенства и братства...».¹³ Свободолюбие Байрона основано на чувстве человеческого достоинства, человек — существо божественное и не может быть рабом чужой воли, другого человека, не может он быть и рабом большинства, — утверждал Вяч. Иванов. «Отсюда защита анархического своеначалия против демократиче-

¹¹ См.: Белый А. Символизм как миропонимание // Мир искусства. 1904. № 5. С. 182—196.

¹² См.: Быстров В. Н. Идея преображения мира в сознании и творчестве Александра Блока. Статья 2 // Литература и история: (Исторический процесс в творческом сознании русских писателей и мыслителей XVIII—XIX вв.). СПб., 1997. Вып. 2. С. 217—250.

¹³ Иванов Вяч. Родное и вселенское. М., 1918. С. 31—32.

ского принуждения».¹⁴ Несмотря на свою проповедь «соборности» как стадии в развитии человеческих отношений, Вяч. Иванов не отвергал плодотворное начало индивидуализма. Синтез индивидуализма и соборности Вяч. Иванов видел в анархизме.¹⁵ Однако индивидуализм не сказал еще последнего слова, и в будущем родится новый индивидуализм, который продолжит древнюю войну с миром.¹⁶

Идеи гуманизма XIX в., в его западническом понимании, были близки Блоку. Можно сказать, что он вырос на этих идеях. В письме В. В. Розанову от 17 февраля 1909 года Блок сообщал: «Ведь я, Василий Васильевич, с молоком матери впитал в себя дух русского „гуманизма“. Дед мой — А. Н. Бекетов, ректор СПб. университета, и я по происхождению и по крови „гуманист“, т. е., как говорят теперь, — „интеллигент“» (VIII, 274). В полной мере разделялись им и идеалы свободы личности. В том же письме Розанову он заявлял: «Так вот, не мальчишество, не ребячливость, не декадентский демонизм, но моя *кровь* говорит мне, что (...) всякое уничтожение и унижение личности — дело страшное» (там же).

Вместе с тем Блок воспринимал идеологию индивидуализма как болезнь личности и общества. В статье «Ирония» (1908) он утверждает: «Есть „священная“ формула (...) повторяемая всеми писателями: „Отрекись от себя для себя, но не для России“ (*Гоголь*). „Чтобы быть самим собою, надо отречься от себя“ (*Ибсен*). „Личное самоотречение не есть отречение от личности, а есть отречение лица от своего эгоизма“ (*Вл. Соловьев*)» (V, 349). Блок мог бы привести и подобные суждения Достоевского, которых множество у русского романиста и которые Блоку, конечно, были известны. Но Блок воспринимал Достоевского в этот период, и в частности в этой статье, как выразителя иронии, противоречий и дисгармонии.¹⁷ Необходимость же отречься от своего эгоизма, от иронии во имя *общих* идеалов ведет к избавлению от болезни, к спасению, к «настоящему „кризису индивидуализма“» (V, 349). Чувствуя приближение нового поворота истории и обреченность старого индивидуализма (и гуманизма), Блок в статьях 1908—1909 годов «Народ и интеллигенция», «Стихия и культура», «Дитя Гоголя» и других писал о наступлении пока что смутно различного движения масс, которое неизбежно оформится в революционном протесте и сметет идеологию буржуазной интеллигенции XIX в., а заодно и самих ее создателей.

Такое предчувствие гибели сложившегося политического, экономического и культурного уклада XIX в. в Европе под натиском неизбежной пролетарской революции было свойственно и Досто-

¹⁴ Там же. С. 32.

¹⁵ *Иванов Вяч. Кризис индивидуализма // Иванов Вяч. По звездам.* СПб., 1909. С. 101.

¹⁶ Там же. С. 102.

¹⁷ См.: *Архипова А. В.* Блок и Достоевский. Статья 1. С. 93—94.

евскому. В февральском выпуске «Дневника писателя» 1877 года он прямо утверждал, что европейский буржуа, капиталист, победивший дворянство в 1789 году, «отлично хорошо понимает, что пролетарий (...) очень может усилиться и даже усиливается с каждым днем. Он отлично предчувствует, что когда тот усилится, то скovyрнет его с места, как он когда-то рыцаря, и точь-в-точь так же скажет ему: „Убирайся, а я на твое место“» (25, 59). И еще ранее, рассуждая на эту тему, Достоевский писал: «...они (пролетарии. — А. А.) победят несомненно, и если богатые не уступят вовремя, то выйдут страшные дела. Но никто не уступит вовремя, — может быть, и оттого, впрочем, что уже прошло время уступок» (22, 86). Однако Достоевский надеялся и верил, что Россия избежит социалистической революции, во-первых, потому, что в России нет и не будет пролетариата, во-вторых, потому, что отмена крепостного права и другие реформы 1860-х годов способствовали единению всех сословий и сплочению их вокруг царя, и, в-третьих, потому, что Россия обладает высшей духовной ценностью, воплощенной в православной вере, и ценность эту добровольно и свободно передаст другим народам. Ценность эта — идея единения всех людей во имя любви.

Блок, переживший революцию 1905—1907 годов, как и большинство его мыслящих современников, уже освободился от иллюзий Достоевского. Надо также иметь в виду, что в отличие от Достоевского Блок ненавидел существовавший в России политический строй и жаждал его гибели. Блок не испытывал иллюзий и относительно сближения интеллигенции и народа, считая его при сложившихся в России условиях невозможным. Отсюда трагический пафос его исторических пророчеств 1908—1909 годов. Еще ярче пафос этот выразился в лирике, созданной в годы первой революции («Барка жизни встала...», «Шли на приступ. Прямо в грудь...», «Митинг», «Вися над городом всемирным...», «Еще прекрасно серое небо...», «Сытые», «Пожар»). Настроение обреченности, недостигнутой цели, покинутости, оторванности от главных событий характерны для этих стихотворений. Блок не единственный из поэтов-символистов переживал подобные настроения. Предчувствие неизбежной гибели вызывает не гнетущий страх, а какое-то радостное упоение.

Но вас, кто меня уничтожит,
Встречаю приветственным гимном, —

писал В. Брюсов («Грядущие гунны», 1905). Гибель старой культуры под натиском диких орд (аналогия с разрушением варварскими племенами Римской империи) стала распространенной метафорой при изображении наступающей революции.

На нас ордой опьянелой
Рухните с темных становий —

Оживить одряхлевшее тело
Волной пылающей крови.

.....
Сложите книги кострами,
Пляшите в их радостном свете,
Творите мерзость во храме, —
Вы во всем неповинны, как дети!

(В. Брюсов. «Грядущие гунны»).

Отголоски этой метафоры слышны и в «Скифах» Блока. Однако он ни в коей мере не оплакивал гибель старой культуры, считая, что поднявшийся народ уничтожит лишь буржуазную цивилизацию. Понятия культуры и цивилизации Блок различал четко. С его точки зрения, культура XIX в. выродилась в цивилизацию. «Человеческая культура становится все более железной, все более машинной, — писал он в статье «Стихия и культура», — все более походит на гигантскую лабораторию, в которой готовится месть стихии: растет наука, чтобы поработить землю; растет искусство — крылатая мечта — таинственный аэроплан, чтобы улететь от земли; растет промышленность, чтобы люди могли расстаться с землей» (V, 355—356).

Еще подробнее развита мысль о противоположности культуры и цивилизации в статье «Крушение гуманизма» (1919) и дневниковых записях, содержащих подготовительные заметки к ней. 6 января 1919 года Блок записывает в дневнике: «Всякая культура — научная ли, художественная ли — демонична. И именно чем научнее, чем художественнее, тем демоничнее. Уж конечно, не глупое профессорье — носитель той науки, которая теперь мобилизуется на борьбу с хаосом. Та наука — потоньше ихней» (VII, 352).

Блок считал, что культура рождается из «духа музыки».¹⁸ «Вначале была музыка, — записывает он в дневнике 31 марта 1919 года, перефразируя первый стих Евангелия от Иоанна. — Музыка есть сущность мира. Мир растет в упругих ритмах {...}. Рост мира есть культура. Культура есть музыкальный ритм» (VII, 360). В истории человечества существуют музыкальные периоды, порождающие мощную и самобытную культуру, и периоды немusикальные, периоды вырождения и измельчания духовных открытий предыдущей эпохи. К музыкальным периодам Блок относил античность («Афины Софокла и Перикла» — VI, 99) эпоху Ренессанса («великая музыкальная эпоха гуманизма — эпоха возрождения, наступившая после музыкального затишья средних веков» — VII, 360). Рождение западноевропейского гуманизма Блок связывает с духом музыки, что, согласно его представлениям, означает цельность,

¹⁸ О символе «музыка» в эстетической и философской системе Блока см.: Максимов Д. Е. Поэзия и проза Ал. Блока. Л., 1976. С. 361—363. См. также: Магомедова Д. М. О зарождении концепции «музыки» в мировоззрении А. Блока // Русская литература XX века (дооктябрьский период). Тула, 1975. Сб. 7. С. 49—63.

мощь и плодотворность движения. Однако со временем оно изжило себя. «Движение, исходной точкой и конечной целью которого была человеческая личность, могло расти и развиваться до тех пор, пока личность была главным двигателем европейской культуры (...). Естественно, однако, что, когда на арене европейской истории появилась новая движущая сила — не личность, а масса, — наступил кризис гуманизма» (VI, 94). Об это новое движение — движение масс — разбился гуманизм, и его поток разлетелся на множество ручейков. Они дробились все больше и больше и превратились в европейскую цивилизацию с ее позитивизмом, материализмом, специализацией, популяризацией знаний и т. д. В политике — то же дробление и «бесконечное мелькание политических форм» (VI, 106). «Что же, — спрашивает Блок, — цивилизация — обогащение мира? Нет, это перегружение мира, загромождение его (Вавилонская башня). Ибо все — множественно, все разделено, все не спаяно; ибо не стало материи, потребной для спайки. Музыка была тем центром, который создавал культуру гуманизма; когда цемента не стало, гуманистическая культура превратилась в гуманную цивилизацию» (VII, 363). Отметим, что Блок разделяет *гуманизм* как течение, связанное с понятием свободы личности и индивидуализмом, и *гуманность* как проповедь защиты слабого человека.

Д. Е. Максимов, говоря о понятии цивилизации у Блока как отрицательном символе, противостоящем таким положительным символам, как «музыка» и «стихия», отмечал, что на формирование отрицательного отношения к понятию цивилизации оказали воздействие многие факторы («отзвуки руссоистских идей», работы демократических писателей, славянофилы, творчество Вл. Соловьева, Л. Толстого, Ф. Ницше и Р. Вагнера), в том числе и Достоевский.¹⁹

В неприятии Достоевским позитивизма, которое горячо восприняли символисты, в критическом отношении к современной буржуазной цивилизации много общего с настроениями Блока. Достоевский всегда, и в этом символисты видели свою близость с ним, очень скептически относился к заранее прописанным и составленным системам, «теориям», «науке», как он часто выражался, согласно которым будто бы можно разумно организовать жизнь: человеческие отношения, экономику, политическое устройство, воспитание подрастающего поколения и т. п.

Вспомним, как характеризовал Вл. Соловьев взгляды Достоевского, выработанные писателем после сближения с народом на каторге: «...общественная правда не выдумывается отдельными умами, а коренится во всенародном чувстве». Отсюда и скепсис по отношению к позитивизму, «научному социализму», современной педагогике, ко всему, что связывал он с понятием цивилизации. Впервые мысли эти четко сформулированы в «Записках из подполья». Оспаривая суждения современных мыслителей (например,

¹⁹ См.: Максимов Д. Е. Пoesия и проза Ал. Блока. С. 365.

Г. Т. Бокля) о том, что цивилизация служит прогрессу, улучшает нравы, ведет к прекращению войн, герой «Записок» восклицает: «Цивилизация вырабатывает в человеке только многосторонность ощущений и (...) решительно ничего больше» (5, 112). И «новые экономические отношения, совсем уже готовые и (...) вычисленные с математической точностью» (5, 113) представляются писателю невозможными, как невозможна жизнь по расчету, правилам, из одной только выгоды.

Суждения эти Достоевский повторял неоднократно. По его мнению, выработанная система, правила, «циркуляры» не только не достигают цели, но приносят вред, так как лишают личность самостоятельного развития. «Нам говорят: живи самостоятельно, — вот вам учреждения, но ведь самостоятельность нечто живое и самобытное, и плохо, если обратится только в учреждение» (22, 146), — замечает он в набросках к «Дневнику писателя». Ироническую характеристику современной цивилизации с ее железными дорогами, банковской системой, разделением труда («специализацией») дает в «Подростке» Версиров (см. 13, 172—173). Размышления о цивилизации содержатся и в наброске неосуществленной статьи Достоевского «Социализм и христианство» (1864). Цивилизация здесь определяется как этап в развитии человечества, пришедший на смену первобытному обществу, когда человек жил «непосредственно» и не выделял себя из массы. «Затем наступает время переходное, то есть дальнейшее развитие, то есть цивилизация. (Цивилизация есть состояние переходное)» (20, 192). В этот период неизбежно «развитие личного сознания и отрицание непосредственных идей и законов (авторитетных, патриархальных, законов масс)». Человек делается враждебен массе и поэтому теряет веру в Бога. «Это состояние, то есть разделение масс на личности, иначе цивилизация, — отмечает Достоевский, — есть состояние болезненное. Потеря живой идеи о Боге тому свидетельствует. Второе свидетельство, что это есть болезнь, есть то, что человек в этом состоянии чувствует себя плохо, тоскует, теряет источник живой жизни, не знает непосредственных ощущений и все сознает» (20, 192). Но вслед за этим болезненным и переходным состоянием, согласно представлениям Достоевского, наступает период христианский, когда человек возвращается к своей непосредственной жизни, но уже разившись, на новой нравственной основе и в новом качестве.

Человек снова соединяется с массой, отрекается от своей воли и делает это добровольно, свободно «и даже не по воле, не по разуму, не по сознанию, а по непосредственному ужасно сильному, непобедимому ощущению, что *это ужасно хорошо*» (20, 192). Отметим здесь тот приоритет, который писатель отдает «непосредственному ощущению» перед сознанием, разумом. В этом, как и в скептическом отношении к «науке», системе, «правилам» сказано то неприятное позитивизма, рационализма, материализма и т. п., которое сближало с ним символистов.

«Достигнуть полного могущества сознания и развития, вполне сознать свое я — и отдать это *все* самовольно для *всех*» (там же), — в этом, по мнению Достоевского, и состоит высшее развитие личности, возможное, разве, в жизни бесконечной.

Так решает для себя Достоевский проблему вечного противоречия между «я» и «все», но решает чисто утопическим путем.

Блок, как видим, вполне совпадал с Достоевским в оценке цивилизации, но не совпадал в представлениях о путях развития человечества. Концепция Достоевского в этом вопросе представляется оптимистической, так как отражает движение людей к совершенству. Пусть не по прямой, но человечество поднимается вверх, вбирая и аккумулируя пережитый опыт.

Концепция Блока, как мы знаем, исходила из теории повторения и припоминания (анамнезиса), когда человечество как бы возвращается к прежнему своему состоянию, «забывая» опыт последующих эпох. Так, в сознании Блока музыкальные эпохи, порождающие культуру, движение, развитие, сменяются эпохами немusикальными (средневековье, цивилизация Нового времени), утрачивающими достижения «музыкального» периода.

Современное состояние человечества, и прежде всего русского общества, Блок воспринимал как состояние конца одной эпохи и начала другой. Новая эпоха, которая неизбежно и скоро придет на смену буржуазной цивилизации, представляется Блоку музыкальной. Но ее музыка не имеет ничего общего с той, которая породила гуманистическую культуру европейского Ренессанса. «Движение, которое происходит в настоящее время в мире, невозможно измерить никакими гуманными мерами, истолковать никакими цивилизованными способами», — писал он в статье «Крушение гуманизма» (VI, 113). Это движение — стихийное движение масс. Массы никогда, утверждает Блок, не исповедают индивидуалистических взглядов, и поэтому «так называемые массы никогда не были затронуты великим движением гуманизма» (VI, 98). Но в еще большей степени массы всегда были далеки от цивилизации, и потому всякое стремление современной интеллигенции приобщить массу (народ) к цивилизации обречено. «Цивилизовать массу не только невозможно, но и не нужно, — убежден Блок. — Если же мы будем говорить о приобщении человечества к *культуре*, то неизвестно еще, кто кого будет приобщать с большим правом: цивилизованные люди — варваров, или наоборот: так как цивилизованные люди изнемогли и потеряли культурную цельность; в такие времена бессознательными хранителями культуры оказываются более свежие варварские массы» (VI, 99). От лица этих «варварских масс», оказавшихся, по мнению Блока, подлинными хранителями культуры, написаны им «Скифы».

Неизбежная гибель гуманистической цивилизации, сменившей культуру гуманизма, не представлялась в это время Блоку трагичной. Как отметил он в своем дневнике: «Кончается не мир, а процесс» (VII, 358). Новая музыка создаст новую культуру и нового

человека. Но это не будет уже человек гуманный. В «новом движении», которое пока «представляет из себя бурный поток», «уже намечается новая роль личности, новая человеческая порода; цель движения — уже не эпический, не политический, не гуманный человек, а человек-артист; он, и только он, будет способен жадно жить и действовать в открывшейся эпохе вихрей и бурь, в которую неудержимо устремилось человечество» (VI, 115).

«Человек-артист» (термин заимствован у Р. Вагнера) представлялся Блоку естественным, непосредственным человеком, близким к природе и наделенным глубоким эстетическим чувством. Так, несмотря на всю метафоричность, изображен он в «Скифах». На концепцию блоковского человека-артиста, идущего на смену человеку XIX в. с его идеями гуманизма и христианства, помимо Р. Вагнера, повлиял и Ницше, который в своих ранних работах был, как известно, близок Вагнеру. И идея вечного возвращения, и представление о духе музыки, из которого рождается культура, в той или иной степени связаны с философией Ницше. Однако в отличие от Ницше Блок периода революции связывает свои новые идеалы не со сверхчеловеком, а с представлениями о народных массах, о простом народе, который, противостоя старому гуманизму, может быть и жестоким, но за которым стоит правда.

Революцию 1917 года и свержение монархии Блок воспринял как естественное и давно им ожидаемое пробуждение масс, как закономерное «возмездие» тому миру, который он называл «страшным». На каком-то этапе Блок почувствовал себя участником грандиозных исторических событий. Он работал в Чрезвычайной комиссии, которая была создана Временным правительством для расследования деятельности бывших царских министров. Последние не вызывали никакого сочувствия поэта. Напротив, работа его по составлению отчета о работе Чрезвычайной комиссии говорит о росте революционных настроений поэта.

20 июня 1917 года он отмечает в записной книжке: «Отчет, пользующийся тщательно проверенным материалом, добытым в течение работы комиссии, должен быть проникнут весь, с начала до конца, русским революционным пафосом, который отражал бы в себе всю тревогу, все надежды и весь величавый романтизм наших дней.

Простым „деловым” отчетом комиссия не отчитается перед народом, который ждет от всякого нового Революционного учреждения новых слов. Нельзя забывать, что Демократия опоясана бурей» (ЗК, 365).

Романтическое, даже отчасти мистическое, восприятие революции характерно в это время для Блока, а выражение Т. Карлейля: «Демократия приходит опоясанная бурей», — он часто повторял в эти дни.²⁰

²⁰ См.: *Аверин Б. В., Дождикова Н. А.* Блок и Т. Карлейль // Александр Блок. Исследования и материалы. Л., 1987. С. 89—116.

Отношение к революции Блока и некоторых символистов, как Вяч. Иванов, Андрей Белый и других, отличалось от настроения большинства русской интеллигенции, напуганной теми многочисленными эксцессами, которые приняли массовый характер с весны и лета 1917 года. Вяч. Иванов в статье «Революция и народное самоопределение» (опубликована 6 октября 1917 года) осуждает интеллигенцию за то, что она, жаждавшая революции, теперь испугалась ее и издевается «над уничижением народного лика, как издевался Хам над наготою великого отца своего, охмелевшего по первом сборе винограда».²¹ По мнению Вяч. Иванова, свершившаяся революция «не была народным действием». «Отношения сил остались те же, что при старом строе: внизу народ, не находящий в себе сил не только самоопределиться действенно, но и выйти из состояния политической бесчувственности, почти — бессознательности; сверху — воздействующие на него групповые энергии, правительствующие силы, ему внеположные, как при старом строе, и при всей деловитости пораженные творческим бессилием, смущенные невозможностью найти единящую идею, претворимую в плоть и кровь народной жизни, и не могущие свести концов с концами».²² Революция не уничтожила разделение интеллигенции и народа. Интеллигенция проявила, как считал Вяч. Иванов, свою полную несостоятельность в этом деле. «Наши революционные деятели и власти наших политических дум, как стоящие у кормила, так и простирающие к кормилу руки, унаследовали все навыки старой бюрократической и полицейской власти, чуждой народу по духу, происхождению, выучке и приемам господствования».²³

Вяч. Иванов видел спасение революции во внесении в нее религиозного сознания, что, по его представлению, подняло бы дух народа и подвигло его на осознанную политическую деятельность. Блок не разделял религиозных устремлений своих соратников по лагерю символистов. Идеи богоискательства были ему чужды,²⁴ к официальной же церкви относился он отрицательно, что, разумеется, не исключает веры у Блока и не противоречит присутствию религиозных образов (Богородица, Христос) в его поэзии.

Но Блок вполне мог быть солидарным с Вяч. Ивановым в его осуждении интеллигенции, которую испугал народ. Уже 27 мая 1917 года Блок замечает в своей записной книжке, обращаясь к напуганным современникам: «Чего вы от жизни ждете? Того, что разрушив обветшалое, люди примутся планомерно за постройку нового? Так бывает только в газете или у Кареева в истории, а люди — создания живые и чудесные прежде всего» (ЗК, 347).

²¹ Иванов Вяч. Родное и вселенское. С. 176.

²² Там же. С. 179.

²³ Там же. С. 181—182.

²⁴ См. об этом: Белый А. Воспоминания о Блоке // Александр Блок в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 297—299.

А в начале 1918 года в статье «Интеллигенция и революция» уже четко формулирует отношение как к интеллигенции, так и к народу: «...стыдно сейчас надмеваться, ухмыляться, плакать, ломать руки, ахать над Россией, над которой пролетает революционный циклон. (...) Русской интеллигенции — точно медведь на ухо наступил: мелкие страхи, мелкие словечки. Не стыдно ли издеваться над безграмотностью каких-нибудь объявлений или писем, которые писаны доброй, но неуклюжей рукой? Не стыдно ли гордо отмалчиваться на „дурацкие“ вопросы? Не стыдно ли прекрасное слово „товарищ“ произносить в кавычках?» (VI, 19).

Блок вряд ли помнил гневное обличение Достоевским либеральной интеллигенции за ее презрение к простому народу, но, несомненно, продолжал эту традицию. Его искреннее народолюбие и старое интеллигентское чувство вины перед народом не ослабело под натиском народного возмущения.

Максимализм и романтический настрой определенным образом окрасили восприятие Блоком революции. Октябрьские события не повлияли на отношение к ней. Они воспринимались как закономерное движение масс.

Блок был готов объяснить (и оправдать) все проявления насилия и вандализма. Даже в уничтожении любимого Шахматова и гибели тамошней библиотеки видел он давно ожидаемое возмездие народа. В статье «Интеллигенция и революция» он писал: «Почему дырявят древний собор? — Потому, что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой. — Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? — Потому что там насиловали и пороли девок; не у того барина, так у соседа. — Почему валят столетние парки? — Потому, что сто лет под их развесистыми липами и кленами господа показывали свою власть: тыкали в нос нищему — мощной, а дураку — образованностью.

Все так. Я знаю, что говорю. Конем этого не объедешь. Замалчивать этого нет возможности; а все, однако, замалчивают.

Я не сомневаюсь ни в чьем личном благородстве, ни в чьей личной скорби; но ведь за прошлое — отвечаем мы? Мы — звенья единой цепи. Или на нас не лежат грехи отцов? — Если этого не чувствуют все, то это должны чувствовать „лучшие“» (VI, 15).

Понимание революции как естественного проявления проснувшейся стихии и выхода на поверхность огнедышащей лавы (вспомним сравнение движения масс с мессинским землетрясением в статье «Стихия и культура») совершенно органично у Блока. И невозможно (прежде всего преступно) встать на пути этого процесса. Отсюда и призыв — слушать музыку революции. Отсюда и работа в целом ряде вновь созданных комиссий, издательств, организуемых новыми властями. Однако все это не имело ничего общего с сотруничеством Блока с большевиками и признанием их исторической роли. Уже в январе 1918 года он делает примечательную запись: «Неужели дело в Луначарском или даже в Ленине? Это

же — „конец исторического процесса”» (ЗК, 384). Тем не менее именно в эти дни он работает над «Двенадцатью». В поэме этой, которая была воспринята большинством современников, как «левых», так и «правых», как апология революции, Блок в действительности изобразил ее как ступок противоречий. «„Двенадцать”, — справедливо отметил Л. К. Долгополов, — не связаны ни с какой политической теорией. В поэме отразился именно „духовный максимализм” Блока (как говорили в 20-е годы), опирающийся на иную сферу бытия личности, нежели сфера политической жизни и политических теорий».²⁵

Все образы поэмы, при большой точности изображения, пластической осязаемости, — глубоко символичны. Символична и главная сюжетная коллизия поэмы — убийство Катьки. Происходит оно как бы случайно, по недоразумению, но это, конечно, не так. В Катьке, образе сниженном по сравнению с образами подобных женщин в предшествующей лирике Блока, чувствуется в то же время естественное, стихийное (народное) начало. Нет и следа загадочности Незнакомки или демонизма Фаины. Вместе с тем она, конечно, связана с теми образами «ночных», «инфернальных» женщин, в которых воплощал Блок темное и хмельное начало России.²⁶ И само ее имя восходит к гоголевской пани Катерине из «Страшной мести», в которой Андрей Белый видел символический образ родины. Гибель ее в «Двенадцати» от руки революционных красногвардейцев символична. Красногвардейцы — одновременно и защитники революционного порядка («Революционный держите шаг! Неугомонный не дремлет враг!» — III, 350) и безответственные убийцы. И отношение автора к ним, не способным не только пожелать убитую Катьку, но и понять горе Петрухи, более строгое, чем к тем народным бунтарям и поджигателям, которых Блок оправдывал в «Интеллигенции и революции» или на страницах своего дневника.

Трудно согласиться с К. А. Медведевой, которая в своем интересном анализе «Двенадцати» полагает, что одной из задач Блока в поэме было изображение «духовного воплощения человека массы в нового человека»,²⁷ и этим новым «артистическим» человеком является Петруха.²⁸ Возможно, Блок и стремился изобразить движение по темным петроградским улицам красногвардейского патруля, состоящего из отпетых молодцов («в зубах — цыгарка, примят картуз. На спину б надо бубновый туз»), готовых и «ножичком

²⁵ Долгополов Л. К. Поэмы Блока и русская поэма конца XIX—начала XX в. С. 163. Там же (С. 145—181) см. об условиях создания поэмы, месте ее в творчестве Блока.

²⁶ См. об этом: *Архипова А. В.* Блок и Достоевский. Статья 1.

²⁷ *Медведева К. А.* Концепция «нового человека» и идеал «артистизма» в творчестве А. Блока. Владивосток, 1984. С. 147.

²⁸ «Внутреннее преображение, очищение человека массы — Петрухи — поэт раскрыл в единстве со всем духовным опытом идущих» (там же. С. 150).

полоснуть», как символическое движение старой России — «дни и ночи напролет» вперед, в неоглядную даль, однако пока каждый из двенадцати, в том числе и Петруха, еще далеко не нашел верного пути. Петруха, напротив, представляется человеком запутавшимся, раздираемым противоречиями, и способным совершить грех (убийство), и тяжело страдающим от этого («Ох ты, горе-горькое! Скука скучная, Смертная!»), чем-то напоминаящим деревенского парня из очерка Достоевского «Влас». Блок вслед за Достоевским показывает нам носителя «разорванного сознания» не в образе традиционно опустошенного интеллигента, а в образе человека из народа, человека массы. И трудно сказать, найдет ли Петруха в отличие от Власа Достоевского путь к возрождению.

Главный герой поэмы — «музыка революции», которую слышал Блок во время создания «Двенадцати»²⁹ и которую великолепно отразил в разнообразных «упругих ритмах» поэмы. «Дело художника, *обязанность* художника, — пишет Блок в те же дни, — видеть то, что задумано, слушать ту музыку, которой гремит „разорванный ветром воздух“.³⁰ Что же задумано? *Переделать все*. Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью» (VI, 12).

В январе 1918 года Блок еще верил, что это возможно, что восставший народ будет со временем способен осуществить эти перемены. Никакой надежды на другие социальные группы у Блока не было. Он не верил политикам, в том числе большевикам, интеллигенции, буржуазии (см., например, его едкий памфлет «Сограждане», написанный весной 1918 года). В этой романтической и мифологизированной вере в народ Блок продолжал народническую традицию и был сходен с Достоевским. И, возможно, не без воздействия идей последнего был создан финал «Двенадцати». Об образе Христа, который идет впереди двенадцати красногвардейцев, было много споров и недоумений по выходе в свет поэмы. Множество толкований этого образа дали многочисленные критики и исследователи Блока. Андрей Белый справедливо трактовал финал «Двенадцати» как указание на тот идеал, к которому должен стремиться революционный народ. «„Впереди — Иисус Христос“ — что это? Через все, через углубление революции до революции жизни, сознания, плоти и кости, до изменения наших чувств, наших мыслей, до изменения нас в любви и братстве, вот это „все“ идет к тому, что „впереди“, — вот к какому „впереди“ это идет».³¹

²⁹ «На днях, лежа в темноте с открытыми глазами, слышал гул, гул: думал, что началось землетрясение», — записал Блок 9 января 1918 года (ЗК, 383).

³⁰ Неточная цитата из «Мертвых душ». У Гоголя: «Гремит и становится ветром разорванный в куски воздух».

³¹ Александр Блок и Андрей Белый : Диалог поэтов о России и революции. М., 1990. С. 504.

Однако воплощение этого идеала в образе Христа, конечно, связано с литературными традициями. В обстоятельной статье И. С. Приходько³² проанализированы многочисленные источники образа Христа, не упомянуто лишь имя Достоевского. Думается, однако, что при создании финала своей поэмы Блок имел в виду идеи этого писателя, воспринятые, возможно, через Владимира Соловьева.

В своей «Первой речи о Достоевском» Соловьев писал: «Одна лишь вера Христова, живущая в народе, содержит в себе тот положительный общественный идеал, в котором отдельная личность солидарна со всеми. От личности же, утратившей эту солидарность, прежде всего требуется, чтобы она отказалась от своего гордого уединения, чтобы нравственным актом самоотвержения она воссоединилась духовно с целым народом».³³

Блок, по всей видимости, не разделял отношения Достоевского к Христу как воплощению высшего идеала, о чем говорят неоднократно высказанные им сомнения в связи с появлением этого образа в конце «Двенадцати».³⁴ Однако он вполне осознавал его как воплощение демократического *народного* идеала, противостоящего идеям индивидуализма, о чем говорил Вл. Соловьев в «речи» о Достоевском. Как общенародный идеал ощущал его поэт в пору создания «Двенадцати», «и другого пока нет; а надо Другого — ?» (ЗК, 389).

Л. К. Долгополов, связывая проблематику «Двенадцати» с общественной мыслью XIX в., с Достоевским и его последним романом, отмечал: «Не исключено, что и сам Христос возник в поэме Блока как отдаленная реминисценция социально-этической темы Достоевского, хотя здесь был не только Достоевский».³⁵

Надо отметить, что с начала января 1918 года (а «Двенадцать» создавались с 8 по 28 января) Блок постоянно возвращался к мыслям о Христе. Возможно, что начало этому дала встреча с Сергеем Есениным, который 3 января посетил Блока и читал ему поэму «Инония» (см. ЗК, 382). Возникший разговор, в том числе и на темы религии, Блок частично отразил в своем дневнике 4 января, записав слова Есенина: «Я выплевываю Причастие (не из кощун-

³² Приходько И. С. Образ Христа в поэме А. Блока «Двенадцать»: (Историко-культурная и религиозно-мифологическая традиция) // Изв. Академии наук СССР. Сер. литературы и языка. 1991. Т. 50. № 5. С. 426—444.

³³ Соловьев В. С. Литературная критика. М., 1990. С. 43.

³⁴ См.: Долгополов Л. К. Поэмы Блока... С. 167.

³⁵ Там же. С. 170. Достоевского вспоминали и современные рецензенты «Двенадцати». В рецензии Иннокентия Аксенова на отдельное издание поэмы в 1918 году между прочим говорилось: «В конце концов Блок в „Двенадцати“ остается верен своему прежнему методу, восходящему к Достоевскому и примененному поэтом в „Незнакомке“: в самой грязной действительности являются самые светлые видения» (Книга и революция. 1920. № 5. С. 54. — Цит. по: Александр Блок и Андрей Белый: Диалог поэтов о России и революции. С. 641).

ства, а не хочу страдания, смирения, сораспятия)» (VII, 313). Это автокомментарий к стихам «Инонии»:

Время мое приспело,
Не страшен мне лязг кнута.
Тело, Христово тело
Выплюываю изо рта.³⁶

Есенин, создавая эти строки, вряд ли помнил очерк Достоевского «Влас», герой которого, крестьянский парень, выплюнул причастие, совершая «на спор» «дерзостный» грех, но Блок легко мог вспомнить этот образ по аналогии с Есениным, тоже «человеком из народа».

В эти же дни Блок читает «Жизнь Иисуса» Э. Ренана, в чем делает пометку в Записной книжке 7 января (ЗК, 382). Отчасти под влиянием Ренана, который описывает Иисуса как реального смертного человека, возникает у Блока замысел драмы об Иисусе, наброски которой он делает в тот же день в Дневнике. В набросках этих, самых предварительных, подчеркнута мысль о заурядности апостолов, принадлежности их к толпе, «срeдине» (как сказал бы Достоевский). «Фома (неверный) — „контролирует“. Пришлось уверовать — заставили — и надули (...). Вложил персты — и стал распространителем: а распространять заставили — инквизицию, папство, икающих попов, учредилки». — «Апостолы воровали для Иисуса. (...) Их стыдили». — «Иисуса арестовали. Ученики, конечно, улизнули» (VII, 316, 317). Апостолы — основатели официальной религии, церкви («инквизиция, папство, икающие попы»). Намечено и какое-то сходство их с большевиками: «У Иуды — лоб, нос и перья бороды — как у Троцкого» (VII, 317). И еще: «Нагорная проповедь — митинг» (там же). Не здесь ли зарождение идеи о большевиках-«апостолах», идеи «Двенадцати», начатых на следующий день?

Апостолам в набросках Блока противопоставлен Иисус. Видимо, вслед за Ренаном, поэт считает его не Богом, а человеком, но человеком из будущего. Иисус, как подчеркивает Блок, «не мужчина, не женщина» (VII, 316), т. е. соединяет в себе и мужественные и женственные черты.³⁷ Но главное в нем — его артистизм. «Иисус — художник. Он все получает от народа (женственная восприимчивость). Апостол брякнет, а Иисус разовьет» (VII, 317). Окружение Иисуса — сварливые, недовольные, вечно переругивающиеся «ученики». «Между ними Иисус — задумчивый и [кроткий] рассеянный, пропускает их разговоры сквозь уши: что надо,

³⁶ Есенин С. Собр. соч.: В 5 т. М., 1961. Т. 2. С. 36.

³⁷ О теме гармонии мужественного и женственного начал в поэзии Блока см.: Медведева К. А. Концепция «нового человека» и идеал «артистизма» в творчестве А. Блока. С. 48—54.

то в художнике застрянет» (там же).³⁸ Здесь как бы намечается вечная тема противопоставления художника и толпы, вечного противоречия между ними. Показательно, что в набросках этих Иисус нигде не назван Христом.

Христос в «Двенадцати» — это, конечно, совсем другой образ. Он вобрал в себя многие размышления Блока этих дней о Христе и о святотатстве, о чем говорил он с Есениным. Возможно, что в задуманной драме намеченный образ Иисуса — «задумчивый» и «кроткий» — это отголосок «Поэмы о Великом инквизиторе» Достоевского. О знаменитом фрагменте из «Братьев Карамазовых» много писали современники Блока. Н. А. Бердяев в своей статье «Великий инквизитор» (1907) рассматривал «поэму» Достоевского с социальных и даже политических позиций. Для него Великий инквизитор — олицетворение деспотического, тоталитарного правления, Христос — является символом свободы. «Легенда о Великом инквизиторе, — утверждал Бердяев, — самое анархическое и самое революционное из всего, что было написано людьми. Никогда еще не был произнесен такой суровый и уничтожающий суд над соблазном государственности, над империализмом, никогда еще не была с такой силой раскрыта антихристианская природа земного царства, и не было еще такой хвалы свободе, такого обнаружения божественности свободы, свободности Христова духа».³⁹ Написанная в пору первой русской революции статья Бердяева проникнута антидеспотическими настроениями и дает несколько прямолинейную, одностороннюю трактовку произведения Достоевского.

Более сложную интерпретацию этой темы дал В. В. Розанов в своей книге «Легенда о Великом инквизиторе» (1894), выдержавшей несколько изданий и, безусловно, известной Блоку. Розанов увидел неоднозначность позиции Великого инквизитора в его рассуждениях о людях, слабых и боящихся свободы, свободы выбора и той ответственности, которую свобода выбора влечет за собой, на что верно указано Достоевским. Достоевский, по мнению Розанова, переменял свое отношение к человеку со времен «Записок из подполья», где он впервые сформулировал свои мысли о том, что «свободная воля человека (...) главное препятствие к окончательному устройению человеческих судеб на земле». «Усталость и скорбь сменили в нем прежнюю уверенность, — пишет Розанов о Достоевском, — и жажда успокоения сказывается всего сильнее в „Легенде“».⁴⁰ Розанов считал, что Достоевский «до известной степени» допускал то «устройство судеб человека», которое предлагал

³⁸ Об автобиографичности некоторых сторон этого образа см.: *Приходько И. С.* Образ Христа в поэме А. Блока «Двенадцать». С. 432.

³⁹ *Бердяев Н. А.* О русских классиках. М., 1993. С. 35.

⁴⁰ *Розанов В.* Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского : Опыт критического комментария. СПб., 1906. С. 122, 123.

Великий инквизитор, так как это устройство *религиозное*, «исходящее из глубочайшего проникновения в *психический строй человека*».⁴¹ Великий инквизитор не просто деспот, земная власть и воплощение антихриста, как полагал Бердяев. Он — глубоко страдающая, трагическая фигура, взявшая на свои плечи все бремя ответственности, от которой он освободил людей. Этим, с точки зрения Розанова, и объясняется загадочный поцелуй Христа.

Однако никакая усталость Достоевского, никакое разочарование его в человеке, не снимало главной антиномии «Великого инквизитора». Остается вечная и неразрешимая на земле проблема: или свобода и ответственность, свобода и страдание — удел сильных и избранных натур; или духовное рабство, спокойствие и благополучие — удел массы. Христос отверг три дьявольских искушения во имя свободы человека. Он верил в свободную личность, способную последовать за Ним не за «хлебы», которые Он даст им, не из страха перед чудом и преклонения перед авторитетом, а в силу самостоятельного свободного выбора. Инквизитор же не верит в силу человека. «Человек был устроен бунтовщиком; разве бунтовщики могут быть счастливы?» — восклицает он (14, 229). Инквизитор убежден, что «ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы!» (14, 230). Люди «не могут быть никогда (...) свободными, потому что мало-маленькие, порочны, ничтожны и бунтовщики» (14, 231). Великий инквизитор говорит о своей любви к людям, на самом деле он глубоко презирает их. Способность человека к бунту он считает проявлением его слабости. Иначе смотрели на это современники русской революции. Блок, создавая поэму о восставших массах, видел в них людей, выбравших не спокойное благополучие, а свободу. Христос, с точки зрения Великого инквизитора, есть знамя свободного человека, т. е. знамя «бунтовщиков». И такая ипостась Христа, восходящая к «Поэме о Великом инквизиторе» Достоевского, могла присутствовать в сознании Блока. В то же время он глубоко чувствовал, что восставшие массы — не избранные герои, а простые люди со всеми своими противоречиями, слабостями и грехами. Однако сейчас они воодушевлены великой идеей свободы и сделали свой главный выбор не в пользу царства Великого инквизитора. Поэтому Христос узнал их, спустился к ним и возглавил шествие красногвардейцев.

Одна из мыслей, заключенных в «Двенадцати», состоит в том, что революция — это деяние масс, а не индивидуальностей. «Соборность» (по терминологии Вяч. Иванова) противостоит личности и эту личность побеждает. Образы людей из «бывшего» мира, данные в 1-й главе поэмы, обрисованы без всякого авторского сочувствия. Они вызывают только «черную злобу, святую злобу» (III, 349). Всякая индивидуальность (личность) должна быть раз-

⁴¹ Там же.

давлена революцией. В этом видел Блок возмездие истории. Но в этом и трагедия, так как личность раздавлена. И трагедия не только для представителей гуманистической (индивидуалистической) культуры, как думал Блок поначалу, а и для всего исторического процесса.

Блок очень активно включился в работу Наркомпроса, считая обязанностью интеллигенции служить народному делу. При этом его методы были подчас самыми революционными.⁴² Надо помнить, что свою работу в Наркомпросе, издательстве «Всемирная литература» или в Большом драматическом театре Блок никогда не осознавал как сотрудничество с большевиками. Не случайно он не печатался в большевистских изданиях, а лишь в органах левых эсеров («Знамя труда», «Наш путь»).

Разгром левых эсеров и закрытие их печатных органов поэт считал окончанием октябрьской революции. В Записке о поэме «Двенадцать» 1 апреля 1920 года опубликованной лишь после смерти Блока,⁴³ он указал: «С начала 1918-го года приблизительно до конца октябрьской революции (три—семь месяцев?) существовала в Петербурге и Москве свобода печати, т. е. кроме правительственных агитационных листков, были газеты разных направлений и доживали свой век некоторые журналы». Далее, говоря об изданиях «одной из политических партий, пользовавшейся во время революции поддержкой правительства» (речь идет о левых эсерах, которых он не называет), где уделялось место культуре, Блок упоминает и «небольшую группу писателей», настроенных революционно и сотрудничавших в этих изданиях.

Правительство терпело революционно настроенных писателей, «пока оно относилось терпимо к революции».⁴⁴ Но, как мы знаем, разгром партии левых эсеров летом 1918 года повлек за собой многочисленные аресты. Был арестован и «революционный» поэт Блок — автор «Двенадцати». Блок пришел к выводу, что большевики подавили революцию, что стихийное движение народных масс выродилось в красный террор и духовное подавление всей творческой деятельности. Музыка умолкла. Блок пересматривает свое романтическое отношение к революции и вспоминает пророчество Достоевского о грядущем «социализме».

Интересное свидетельство на этот счет приводит В. А. Каверин в книге своих воспоминаний «Эпилог». Один из его знакомых «в

⁴² См. воспоминания С. М. Алянского о сотрудничестве с Блоком в 1918 году в кн.: Александр Блок в воспоминаниях современников. М., 1980. Т. 2. С. 273.

⁴³ «Записку» впервые обнаружил Андрей Белый в своей речи на LXXXIII открытом заседании Вольной философской ассоциации 28 августа 1921 года, посвященном памяти Александра Блока. Опубликовано она в сб. «Памяти Александра Блока» (Пб., 1922). В дальнейшем, во всех советских изданиях «Записка» печаталась с сокращениями.

⁴⁴ Александр Блок и Андрей Белый: Диалог поэтов о России и революции. С. 505.

феврале 1919 г. оказался в одной камере с Блоком на Гороховой, 2». «В камере на Гороховой можно было встретить и спекулянтов, и взяточников, и убийцу, и генерала, два дня тому назад назначенного начальником всей артиллерии одной из действующих армий, и эсеров, правых и левых, и солдат, и матросов. Бывший кавалерист С., прославившийся на войне своей храбростью, не находил ничего удивительного в том, что в тюрьме оказался и он, о подвигах которого в свое время говорила вся Россия, и Блок, написавший „Двенадцать“».

— Социализм стремится к полному равенству, — сказал он, — а всякий признак превосходства — все равно, духовного или материального, — неизбежно будет отсекается, потому что по самой своей природе враждебен подавляющему большинству...

— Шигалевщина бродит в умах, — заметил Блок, когда разговор оборвался. И он на память процитировал Петра Верховенского: „Высшие способности не могут не быть деспотами и всегда развращали более, чем приносили пользы; их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается камнями“.

Разговор возобновился, когда к Блоку подсел молодой человек, еще недавно — лицеист, попытавшийся доказать, что беда интеллигенции заключается в том, что она всегда стремилась опуститься до уровня маленького человека, а не возвысить его до себя.

— Нас погубила уверенность в том, что без нас обойтись невозможно. Ошибка! Можно. И очень скоро окажется, что не только можно, но и должно.

— Да, — ответил Блок. — Если шигалевщина победит.

— И вы думаете, она еще не победила? — спросил лицеист».

Далее Каверин говорит о словах арестованного генерала, который уверенно ждал освобождения. «Когда Блока увели на допрос, он прямо объявил, что если бы не поэты и писатели, „никогда бы не произошло то, что случилось“. У генерала была своя, генеральская шигалевщина». Он знал, что государству нужна армия, а следовательно, и генералы. «Для государства такие люди, как Блок, да и хотя бы Лев Толстой, — всегда нежелательны, и в этом смысле в России ничего никогда перемениться не может...».⁴⁵

Развитие событий должно было подтвердить Блоку, что «шигалевщина» наступает, а новый «человек-артист» не появляется.

В его записных книжках все больше свидетельств тяжелого разочарования в происходящем. Не только голод и бытовые неустройства (уплотнение квартиры, требование выполнять различные новые обязанности, как ночные дежурства возле дома и т. п.) тому причиной. Главное — утрата иллюзий относительно революции, разочарование в тех представителях «народной стихии», с которыми приходилось сталкиваться на каждом шагу: матросы, лузга-

⁴⁵ Каверин В. Эпилог. М., 1989. С. 24, 25.

ющие семечки, безграмотные «барышни» в советских учреждениях, опустошенные «денди»-наркоманы среди бывшей интеллигентной молодежи (см. очерк «Русские дэнди» — VI, 53—57). К. И. Чуковский записал в своем дневнике 3 января 1920 года: «Вчера Блок сказал: „Прежде матросы б(ы)ли в стиле Маяковского. Теперь их стиль Игорь Северянин“. Это глубоко верно». ⁴⁶ Пошлость заглушила «музыку революции».

Надо подчеркнуть, что меньше всего Блок хотел возвращения старого. Он тяжело воспринимал возрождение мелких буржуа в начале нэпа (очерк «Сограждане»), страдал, видя, как активизируется мещанский настрой. По воспоминаниям С. М. Алянского, Блок в апреле 1921 года с возмущением говорил, как «на улицах из подворотен, подъездов, магазинов, из всех щелей — отовсюду выползали звуки омерзительной пошлости, какие-то отвратительные фокстроты и доморощенная цыганщина». И добавил: «Я думал, что эти звуки давно и навсегда ушли из нашей жизни, — они еще живы... (...). Неужели все это возвращается? Это страшно!...». ⁴⁷

Результатом всего этого стало творческое молчание. Блок постоянно жаловался, что его оставил «дух музыки», что прекратились всякие звуки. Об этом писал он в дневнике, в записных книжках, в частных письмах, об этом говорил друзьям. ⁴⁸

Послереволюционные события не оставляли места для исторического оптимизма. Разрушилась надежда на приход новой музыкальной эпохи и нового «человека-артиста». Не оправдалась и вера Достоевского в то, что «народ спасет себя и нас». Несостоятельными оказались наивные упования на «соборность». Старый гуманизм XIX в., конечно же, разрушился. Но на смену ему, как выдилось в это время Блоку, пришел хаос.

Единственное спасение, которое представлялось ему возможным, он увидел в искусстве и в личности художника-творца. Под этим знаком созданы были его последние литературные выступления: речь «О назначении поэта» и стихотворение «Пушкинскому дому».

Речь Блока, посвященная памяти Пушкина и прочитанная в Доме литераторов в 84-ю годовщину со дня гибели поэта, по словам Д. Е. Максимова, «такая же предсмертная, как и пушкинская речь Достоевского. (Блок произнес ее за шесть месяцев до смерти, Достоевский — за восемь)». ⁴⁹

Главная тема речи Блока, как видно из ее названия, — роль поэта в обществе и отношения его с обществом, тема, характерная для эстетических выступлений романтизма. И ставит, и решает ее здесь Блок вполне в духе романтической, идеалистической тради-

⁴⁶ Чуковский К. Дневник. 1901—1929. М., 1991. С. 137.

⁴⁷ Александр Блок в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 304—305.

⁴⁸ См.: Там же. С. 247.

⁴⁹ Максимов Д. Е. Поэзия и проза Ал. Блока. С. 462.

ции, отринув все свои высказывания о торжестве антигуманизма, о музыке подземной стихии, сметающей прежнюю культуру и цивилизацию, о приходе новых людей «с раскосыми и жадными очами», которые будут «жадно жить и действовать» (VI, 115). Блок провозглашает самоценность творческой личности независимо от исторической эпохи. «Поэт — величина неизменная. Могут устареть его язык, его приемы; но сущность его дела не устаревает» (VI, 160). Эта сущность заключается в том, что поэт — проводник гармонического начала, при помощи гармонии он создает из хаоса — космос. «Что такое гармония? Гармония есть согласие мировых сил, порядок мировой жизни. Порядок — космос, в противоположность беспорядку — хаосу. Из хаоса рождается космос, мир, учили древние» (VI, 161). Пушкин, как никакой другой из русских поэтов, воплощал в себе гармоническое начало, был сыном гармонии. Поэтому день его памяти дает повод говорить о роли поэта в обществе. Пушкина, по мнению Блока, не понимали ни в прошлом веке, ни в нынешнем. «Сегодня они ставят ему памятники; завтра хотят „сбросить его с корабля современности“» (VI, 161). Оба этих акта, а здесь Блок явно имеет в виду шумный «пушкинский праздник» 1880 года и современные футуристические манифесты, идут как бы в одном ряду, отражая общественную суету вокруг имени поэта, но вовсе не понимание его целей и задач. Ибо главное назначение — улавливать мировую гармонию и вносить ее в жизнь — поэт осуществляет сам, один, будучи внутренне свободен.

Творческий процесс, по определению Блока, состоит из трех стадий, «трех дел»: «освободить звуки из родной безначальной стихии», т. е. уловить мировую гармонию, иными словами, проникнуть в мир, изучить и понять его, затем «привести эти звуки в гармонию, дать им форму», в чем и заключается собственно создание произведения, и, наконец, «внести эту гармонию во внешний мир» (VI, 162). На каждом из трех этапов поэта подстерегают трудности. Но если на первых двух художник должен победить лишь себя, то на третьем этапе он вступает в борьбу с «чернью». «Сословие черни, — подчеркивал Блок, — как, впрочем, и другие человеческие сословия, прогрессирует весьма медленно» (VI, 165). Люди, близкие к «черни», догадались создать цензуру «для охраны порядка своего мира» и «поставили преграду лишь на третьем пути поэта: на пути внесения гармонии в мир» (VI, 165). До последнего времени, отмечает Блок, люди не догадывались поставить преграды на первом и втором пути поэта. Но теперь, кажется, «изыскиваются средства» «для замутнения самих источников гармонии» (там же). И уже рождается новое поколение чиновников, «которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным уруслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначение» (VI, 167). О внутренней, «тайной свободе» поэта Блок много говорит в своей речи. Лишенный ее, поэт не может выполнять своего назначения.

«Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. (...) И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл» (VI, 167).

Разумеется, речь «О назначении поэта» пронизана аллюзиями. И ее аллюзионный смысл прекрасно поняла аудитория, собравшаяся в Доме литераторов. Интересный рассказ о восприятии современниками выступления Блока оставил К. И. Чуковский в своем дневнике, в записи от 13 февраля 1921 года.

«Собрание историческое. Стол — за столом Кузмин, Ахматова, Ходасевич, Кристи, Кони, Александр Блок, Котляревский, Щеголев и Илья Садофьев (из Пролеткульта) (...). Речь Кони (...) — внутренне равнодушная и внешняя. (...) Стишки М. Кузмина (...) очень обыкновенные. После Кузмина — Блок. Он в белой фуфайке и в пиджаке. Сидел за столом неподвижно (...). Пошел к кафедре, развернул бумагу и матовым голосом стал читать о том, что Бенкендорф не душил вдохновенья поэта, как душат его теперешние чиновники, что Пушкин мог творить, а нам (поэтам) теперь — смерть. Сказано это было так прикровенно, что некоторые не поняли. Садофьев, напр(имер), аплодировал. Но большинство поняло и аплодировало долго. После в артистической — трясущая головой Марья Вениаминовна Ватсон,⁵⁰ фанатичка антибольшевизма, долго благодарила его, утверждая, что он „загладил“ свои „Двенадцать“. Кристи⁵¹ сказал: „Вот не думал, что Блок, написавший «Двенадцать», сделает такой выпад“. Волынский говорил: „Это глубокая вещь“. Блок несуетно и медленно разговаривал потом с Гумилевым».⁵²

В речи «О назначении поэта» Блок соединил вечные вопросы с политической злобой дня. И если отношение его к «текущему моменту» было совершенно безрадостным, то общее представление о смысле жизни, о путях человечества и его культуры не утратило своего стержня и этического смысла. «Мы умираем, а искусство остается. Его конечные цели нам неизвестны и не могут быть известны. Оно единосущно и нераздельно» (VI, 168).

При всем историческом пессимизме, продемонстрированном Блоком в его последнем публичном выступлении, при всем трагизме отношения к жизни, он все-таки удержался от полного отчаяния. Осталась вера в человеческую личность в высшем ее проявлении — художника-творца, и подтверждение этой веры — «веселое имя: Пушкин» (VI, 160).

Так Блок снова вернулся к понятию индивидуальности, противопоставив это понятие идеалам «соборности», «народа-богосца», «народной стихии», преодолевая идеалы и Достоевского,

⁵⁰ М. В. Ватсон (1853—1932) — поэтесса, переводчица.

⁵¹ Кристи Михаил Петрович (1875—1965) — уполномоченный Наркомпроса в Петрограде (1918—1926), с 1926 г. — зам. зав. Главнауки.

⁵² Чуковский К. Дневник. 1901—1929. С. 158.

и Владимира Соловьева, и символистов-соловьевцев, Блок, может быть, на подсознательном уровне вернулся к идеалам гуманизма, как он их понимал. Достоевский тоже придавал особое значение человеческой личности, повторяя, что и единичный пример может очень многое (см. 25, 63), что «слово я есть до того великая вещь, что бессмысленно, если оно уничтожится» (24, 234), что «царство Божие внутри нас». Вера в самоценность внутренне свободной человеческой личности сближает Блока и Достоевского. Но если Достоевский верил в возможность (пусть в «будущей» жизни) преодоления противоречия между «я» и «мы», в слиянии личности и массы, а путь к этому видел в постижении человеком Бога и земного воплощения его — Христа, то Блок утратил эту веру и остался пессимистом. Его высший человек (а это не «белокурая бестия» Ницше, а художник, поэт, вносящий гармонию в мир) безнадежно одинок.